

О священстве, о древних и новых жертвах. Василий Васильевич Розанов

Доклад, прочитанный на 2-м Религиозно-философском собрании в С.-Петербурге в ответ на прения, возбужденные докладом В. А. Тернавцева: «Русская церковь перед великою задачею»[1 - Все не был помещен в «Записках религиозно-философских собраний», печатавшихся при «Новом пути» за 1903 г. — В.Р.]

Споры наши, имея темою расхождения церкви и общества, спустились в очень невысокую сферу: взаимных, хоть и не прямых упреков. При этом мы, интеллигенция, имели поучительный пример со стороны представителей духовенства: от него мы не слышали еще ни одного укора, тогда как сами высказали несколько. Ход дебатов невольно приобрел публицистическую окраску. «Исправитесь!» «Мы постараясь — поверить, а они пусть начнут делать: и все кончится благополучно». Между тем стоит так поставить вопрос: да отчего же тысячу лет духовенство не делало, и опять же тысячу лет интеллигенция была или скептически, или еретична, — чтобы рассеять наши публицистические надежды и заставить спуститься ниже, глубже. На наш тревожный вопрос: «Отчего мы разошлись?» — в поверхностном слое публицистики вовсе нет никакого ответа или есть ответы пустые. Подобно тому как некоторые запутанные вопросы арифметики, например о непрерывных дробях, находят решение свое только в высшем алгебраическом анализе, так и тема, конечно публицистическая, о расхождении интеллигенции и церкви, имеет решение не в собственной своей сфере, а в религиозной или, точнее, в философско-религиозной.

Присмотримся к духовенству, задумаемся, оценим. Не есть ли это личный и живой, ходячий фетишизм? Говоря это, я не укоряю, а определяю. Ибо очевидно, каждое духовное лицо, принимая сан, вступает в ячейку, не им приготовленную, и в которой он не может пошевелиться. Итак, укорам здесь нет места. В ризах священник, в эпитрахили, и он же просто в рясе — как бы различное бытие. Он в ризе — как бы икона в окладе; без ризы — живопись без отнесения к ней молитвы. От царя до нищего перед священником в эпитрахили мы все безмолвны, безропотны, покорны. Нельзя не заметить на литургии, что мы молимся святому месту (храма), святой службе, но немножечко молимся и священникам. Самое слово «священник» близко к «святой человек». Почему-то одеяния их, именно ризы, получили тот же металлический, золотистый или серебристый отлив, так и оклады на образах: тенденция, невольная и бессознательная, к слиянию — очевидна. Усопший архиерей часто переходит на образ (святители Николай, Филипп, Алексей, Петр, Иона); и, конечно, жизнь всего духовенства тянется сюда, все они узкою тропью, тесным путем идут как бы на алтарную стену. Не доходят, падают, но это — все равно: важна верхняя площадка, на которой стоят избранные. В попечении об этом «узком пути Марии» духовенство и забыло мир, широкие пути Марфы, забот, трудов, реальной помощи реальному миру. Священники и особенно черное духовенство, суть поклоняемые *dii minimi*[2 - младшие боги (лат.)], нижний ярус христианского Олимпа; да это ясно и выражено в словах: «земные ангелы, небесные человеки». Откуда так все сложилось? Пошло все от таинства священства. Уже в первые апостольские времена священники «рукополагаются» (Деяния. IV, 23: «рукоположив пресвитеры в каждой церкви»). Какое это имело значение? И Авраам, посылая слугу отыскать жену Исааку, и Иаков, благословляя детей, — «возлагают руки им на голову». Это — знак отечества рукополагающего; знак учительства; жест заботы, повеления, поручения. Но посланный, получивший поручение, или учитель — еще не суть «священники». Развилось понятие об особой «благодати священства». И вот тут, мне кажется, произошло в истории одно странное и мучительное обстоятельство.

Когда древний закон был разрушен ап. Павлом как не нужный для спасения, а *jus canonium*[3 - каноническое право (лат.)] еще не родилось, то в эту пору, так сказать, «междоцарствия» двух законов, — для человечества, которому нужно же было чем-нибудь руководиться в подробностях жизни, создано было понятие и чувство «благодати» как какого-то незаконного поверхзаконного веяния. «Благодатью спасаемся», — дан был им лозунг, плачущим, что Синай скрывается под водою, тонет в волнах небытия; и обрезание, и суббота, о коих Бог сказал: «дано вам это в закон вечный». Из таких выражений, как, например, во 2-м послании Иоанна: «да будет с нами благодать, милость и мир», или: «благодать вам и мир от Бога-Отца» (1 Коринф. 1, 3), и множества подобных видно, что благодать представляет высшую степень человеческо-божеской духовности, какого-то веяния, реяния с небес на землю, или восторгов человеческого сердца, без всякой принадлежности кому-нибудь, без всякой специализации, без всякой классификации. Теперь что же совершилось далее? «Благодать сердца», неуловимая и нематериализуемая, как и «мир сердца» в приведенных выше выражениях, стала какой-то уловляемой, помещаемой, перемещаемой, делимой и классифицируемой духовной эссенцией, несомненно пространственно-ограниченного значения. И кажется, это возникло в момент сложения новозаветного закона, когда спасительный лозунг «благодать» просто перестал быть нужен и даже стал опасен, как характерное незаконное и поверхзаконное «веяние в сердце». Стала благодать «братся» и «даваться» и поделилась иерархически; и в то же время полог благодати, некоей природной святости, врожденного богообщения, был сдернут с мира. Мир стал гол; светск, нищ; безблагодатен; зато священство и вообще иерархия стало утроенно благодатно, и притом так материально благодатно, что глагол Предтечи: «Покайтесь, ибо приблизилось царство Божие», — замолк для него, замолк от Пиренея до Вятки.

Лично духовенство, я думаю, прекрасно. Но именно в золотящихся одеждах его, иконообразное — оно ужасно потому, что непоправимо, неисправимо, нераскаянно. Я не преувеличиваю чувства и идеи греха: но без нее слабому человеку трудно бы прожить. Согрешил — и стараешься добрым маленьким дельцем поправить занозу в сердце. Я видал студентов кающихся, гимназистов, чиновников кающихся друг перед другом. Все мы знаем, как черною полосой проходит четвертая и седьмая неделя великого поста для мирян: они каются, и это видно, заметно в обществе, это маленький духовный траур в стране. Совесть, очевидно, растревожена. Но видал ли кто и заметно ли вообще покаяние духовенства? Нельзя не обратить внимания, что это таинство как бы ослаблено для них, стало нечувствительно, разрежено. Теперь сейчас вы поймете, как это важно: светская литература полна самобичевания; но возьмите духовные журналы: это сплошное счастье и самоуверенность, самодовольство. Таким образом, духовенство почти потеряло в укорах совести жгучий момент к подвигу, о недостатке коего здесь в собраниях говорилось: оно не побежало к голодающим, оно не представительствовало пред Грозным (кроме единственного случая — Митр. Филиппа), не волновалось от Аракчеева; не торопилось учить детей в школах. Греки называли богов «блаженными», *οἱ μακάρεσσι*: вот такие «счастливые боги» суть и «земные ангелы, небесные человеки», «священники», т. е. «святые» и, словом, чин — духовенства в эпитрахили. В рясе — он друг, человек, ученый, в душе иногда поэт, часто — гражданин. Но он надел ризу: а теперь вы к нему не достучитесь, теперь умерло его сердце и умер его ум.

Как только благодать материализовалась и распределилась между духовенством, мир стал рабом его, от царя до нищего. От Матвей Ржевский говорит Гоголю: «Не подходишь под мое благословение, бегаешь благодати». Благодать ему представляется электричеством,

струящимся с его рук, как с иголки громотвода. Гоголь пусть и гений, но все же человек, а от. Матвей, каков бы он ни был лично, по способности каждый день надеть эпитрахиль и идти по «узкому пути» на алтарную стену, в киот, под ризу — вовсе не человек, а некоторая божественная вещь, божественное существо. У него ни тоски, ни горя; „οι ράκαρεξ” — блаженные боги! Наука, жизнь, труд, заслуга, гений — все померкло, понизилось перед «возложением рук», непосредственно от апостолов до от. Матвея: перед тем «возложением», которое, кажется, первоначально имело характер просто доброты и заботы посылающего о посылаемом. Сколько праведников, как Бруно, погибли от духовенства! на сколько праведных дел, событий, жизни прямо плюнуто с «узкого пути Марии» (мученичество, инквизиция, у нас — сектанство). Странно: семьдесят толстовцев и полторы тысячи пашковцев заставили духовенство «разодрать ризы на себе». Но вот нарисуйте картинно, ярко, как жгли Джордано Бруно: ни Боссюэт, ни пастор Штекер, ни В. М. Скворцов[4 - Заведующий миссионерским делом в России, чиновник особых поручений при обер-прокуроре св. Синода, присутствовавший на собрании этом и на всех других.] не посыпят пеплом головы от зрелища. И до сих пор католичество ведь нисколько не раскаялось в инквизиции; восточная церковь не раскаялась, что около V—VI вв. в Греции почти повально вырезывались жида за печать Ветхого Завета на себе. И когда спрашиваешь себя, да как на это все духу хватало, то находим ответ в этом преобразовании учения о благодати: перед «богами» все человеческое — ничто, и гений, и заслуга, и жизнь. В то же время христианское человечество, лишённое участия и собственности в благодати, подпало или, точнее, подведено было духовенством под «иго закона» гораздо жесточе, неумолимее, чем как было под ним до «искупления» ветхозаветное человечество. Подведено под «иго» своих специальных «духовных» законов — активно; а пассивно — через допущение государству издавать для стада какие угодно законы. В этом стаде у каждой овцы у нас отнято всякое внутреннее сопротивление, всякий упор, твердость — против внешнего давления. Твердость правая, упорство святое, которое опиралось бы на листочек общего венца: благодати, всему человечеству данной. Это бессильное и бесправное стадо со сломанными у него костями (отнята точка упора), естественно, повело себя нервно, патологично, немощно и буйно; повело, как санюлот. Идея царственного достоинства, священства «по чину Мельхиседекову» (вне иерархического порядка, чьего-либо назначения), откуда в Ветхом Завете и родилось пророчество, — эта благороднейшая и зиждательная идея была снята с человечества: и угасло пророчество. Осталась только публицистика, нервная, сорная, блеклая. Но по-мещански она все же делает добросовестно свою мещанскую работу. Тогда как «старший брат» этого блудного сына Небесного Отца и не пророчествует, и не делает; а только, ссылаясь на «благодать Христову», это как бы новое «первородство», зажимает нос от «пороков» младшего, брата и обвиняет, упорнее всего обвиняет его перед Отцом своим — Богом «щедрот», как мы верим в сердце своем.

Это — частности. Но есть и мировая сторона в нашей проблеме. Ведь о чем мы толкуем? О нереальности христианства. Об этом все плачи, в целой Европе. Человек бы должен бежать к Богу, а миссионеры, инквизиция, коллегия «de propaganda fide»[5 - по распространению веры (лат.)], Боссюэт или Штекер явно ухаживают за «неверами», прямо волочатся за публикой. Явление и комичное, и страшное. Волокитство верующего за неверующим есть общий факт целой Европы, и притом начиная с Тертуллиана. А евреи, например, прямо не пускают в свою веру, грозят, пугают; и все же «от Израиля быть Спасение» и Библию никому не нужно навязывать: ее иллюстрирует Доре, изучает Невер-Ренан, все ее чтут, о ней плачут, и с изумлением мы формулируем: «боговдохновенна».

Европа не «боговдохновенна». Оттого и нужно всякого недоверка ловить лесую Петра. Отсюда «de propaganda fide» и даже наши собрания. Что за факт?

Да есть ли реализм, реальность, реалистический момент в самом христианстве? Возьмите картину. Один и тот же узор ее можно начертать карандашом, чернилами, акварелью, масляными красками. Опять, значит, истина остается, истину я не оспариваю; а укажу только на отсутствие налитости кровью и соком всего дела. Бескровное и бессочное — вот что такое наши религиозные «понятия». Даже дико сказать «понятия». Почему религия должна быть понятием, а не фактом? «Книга бытия», а не «Книга рассуждения» — так началось «ветхое» богословие. — «В начале бе Слово» — так начинается «новое» богословие. Слово и разошлось с бытием, слово — у духовенства, а бытие — у общества; и «слово» это бескровно, а бытие это небожественно. Но, повторяем, где же корень этого расхождения?

Перемена жертв. Как мы повторяем: «Жертва Богу — дух сокрушен, сердца униженного Бог не унижит». Но почему это слово Давида нам так понравилось, а равные слова других мест Писания о принесении жертв Богу «в сладкое благоуханье» мы не помним, пренебрегли ими? Я читал у Златоуста о древних жертвах: «Конечно, не надо, конечно, гадость, потому что воняет этот убитый скот». Он только и понял, что дурной запах от древних жертв. Но ведь кровь есть не запах, кровь есть мистицизм и факт. Златоуст даже не вспомнил слов Писания: «Кровь не проливай, а закапывай в землю: ибо в крови — душа животного». Златоуст уже ничего не понимает в жертвах, и с новых точек зрения долбит слушателям: «Жертва Богу — дух сокрушен». И сокрушились мы в духе, т. е. пали, разрушились, потеряв кровный, родной путь к Богу в таинственных древних жертвах. Настали «бескровные» жертвы, водянистые, риторичные. Все мы будто бы «сокрушены в сердцах», а на самом деле обделываем свои делишки. Просто мы не делаем сладкого Богу, и Бог нас забыл, а Европа потеряла Богоощущение. Откуда — атеистическая наука и атеистическое искусство. Откуда — полемика духовенства и печальные «волокитства». Европа в религиозном отношении — просто являет отвратительное зрелище, и я уже в Тертуллиане-риторе чую носом «первое стилистическое в Европе перо», Ренана — историка. Все они одной категории: или риторы, или политики. И ни у кого из новых, а у древнего Давида вырвался глагол: «Богу жертва — дух сокрушен» и проч., ибо около таинственных-то древних жертв вспыхнул и фосфор веры, молитвы, пения, музыки сердечной.

Повторяю и формулирую: кровь — жизнь, факт. Религия, неволью взявшая кровь в нить соединения своего с Богом, и была фактична, жизненна.

Вода есть вода. И все наши религиозные представления, и чувства, и слова, и усилия — водянисты. Вот, я думаю, мировая сторона проблемы, которую еще рано обсуждать: но, если Бог продлит наши собрания, придется и в это вникнуть. Центральным пунктом обсуждения здесь будет: что значит «изгнание торгующих из храма», т. е. было ли это иносказательным «не нужно» против установленных в Ветхом Завете жертв, и тогда отчего Иисус прямо этого не сказал? Или Он хотел только произвести перемену в способе торговли жертвенными животными, голубками, ягнятами, козленочками, которые все были в черте «Божьего места»? Напр., Он, может быть, хотел, чтобы их кто-то дарил бедным, вроде 2-х лепт вдовицы, или чтобы они были от храма, были «казенные». Тут не ясно:

1) или жертвы отменялись; и тогда слово Божие о них надо было отменить прямо;

2) или нисколько они не отменялись, и тогда почему же их отменили христиане вопреки точному Слову Божию, обязательному для нас гораздо более основным образом, чем X заповедей, данных Богом через Моисея. Ибо завет о жертвах — древнее, всеобщее, настойчивее, чем это десятословие.

Примечания

1 **Вовсе** не был помещён в «Записках религиозно-философских собраний», печатавшихся при «Новом пути» за 1903 г. — В.Р.

2 младшие боги (лат.).

3 каноническое право (лат.).

4 Заведующий миссионерским делом в России, чиновник особых поручений при обер-прокуроре св. Синода, присутствовавший на собрании этом и на всех других.

5 по распространению веры (лат.).